

**Д. С. Мережковский**

# **Рождение богов**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6  
ББК 84-4  
М52

М52      **Мережковский Д.С.**  
Рождение богов / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. –  
88 с.

**ISBN 978-5-4241-2335-1**

Дмитрий Сергеевич Мережковский - известный русский и европейский поэт, писатель и философ Серебряного века. Один из основоположников русского символизма, он первым ввел в литературу жанр историософского романа.

**ISBN 978-5-4241-2335-1**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Д.С. Мережковский, 2021

Дмитрий Сергеевич  
Мережковский  
РОЖДЕНИЕ БОГОВ.  
ТУТАНКАМОН НА КРИТЕ



# МАТЕРЬ БОГОВ

## I

— «Отец есть любовь». Аб-вад. Аб — Отец, вад — любовь. Вот что на талисмане написано.

— Что это значит?

— Не знаю... Как надела мне его мать на шею, так и ношу, никогда не снимаю; он меня всю жизнь хранит. Сохранил и давеча от зверя. Когда из камышей выпорскнул вепрь, сшиб меня с ног, хватился я ножа — ножны пусты. Под брюхом у него лежу, а он надо мною храпит, горло клыком достает. Хорошо, что внизу, у ключицы задел, а если бы чуть-чуть повыше, тут бы мне и конец. Вспомнил я талисман, одной рукой нащупал на груди, «Аб вад», — шепчу, а другой рукой нашарил нож в траве; должно быть, выронил, падая. Изловчился, приподнялся и всадил его по рукоятку в брюхо зверю.

— Талисман тебя спас, а ты — меня.

— Я о тебе не думал... Ну, а если бы и спас, какая мне прибыль? Мы ведь купцы о прибыли только и думаем.

— Погоди, купец, может быть, будет и прибыль...

Лица ее не видел он, но слышал по голосу, что улыбулась так ласково, что, хотя и знал, что счастья не будет, все-таки сердце от счастья замерло.

Таммузадад, сын Иштартарамана, вавилонянин, и Дио, дочь Аридоэля, критянка, шли по лесной дороге с Иды горы, в город Кносс, столицу острова Крита. Дорогу — две колеи в красно-желтой глине — проложили скрипучими колесами телег дровосеки, возившие лес с Горы — мачтовые сосны и кедры — на корабельные верфи Кноссской гавани.

Охотники возвращались с ловли диких быков, а вепря затравили нечаянно: сам набежал на них, вспугнутый гончими. Священные игры быков совершались на Кносском ристалище во славу Быка. Каждую весну ловцы и ловчихи отправлялись за ними на Гору. Там, на медвяно-злачных пажитях, у ледяно-струйных вод, паслись быки, неукротимо-дикие, тяжело-тучные, широколобистые, огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли, Матери богоподобные. Ловили их, как птиц, в тенета, сплетенные из толстых морских канатов, расставленные в лесных дебрях, на водопойных тропах.

Уже весна цвела в долинах, а здесь, на Горе, все еще была зима. Пронзительно-холодный ветер задувал со снежной Иды. Тучи неслись по небу так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки сосен. Шел мокрый снег с дождем. Смеркалось.

Но весна была уже и в зимних сумерках. Из-под кучи прелых листьев пробились ландыши; во мху цвели фиалки; куковала кукушка, как будто знала и она, что счастья не будет, а все-таки плакала от счастья.

— Да, от всего спасал талисман, — заговорил он опять, — от огня, от яда, от зверя; от одного не спас...

— От чего? — спросила она. Он не ответил, и она поняла: «От тебя».

Оба закутаны были в звериные шкуры: он — в рыжую, львиную, с пастью на голове вместо шлема; она — в седую, волчью, со шлемом хоровым. У обоих —

охотничьи копья в руках, луки и колчаны за спиною. Трудно было узнать, кто мужчина, кто женщина.

Скинув львиную пасть с головы, он поднес руку к шее.

— Болит? — спросила она.

— Не очень. Что это за рана — царапина! Пастухом, в Халихалбате, хаживал на львов с одной палицей. Раз только оценившаяся львица задрала; след когтей и сейчас на спине. Ну, да я тогда покрепче был, помоложе...

Она посмотрела на него заботливо.

— Повязка сползла. Дай поправлю.

— Нет, где тут в лесу! Ведь скоро будем дома?

— Скоро, — ответила она нерешительно.

— А дорогу знаешь? Не заблудимся? Вон глушь какая!.. Что это, море шумит?

— Нет, сосны. Когда шумят сосны, похоже на море.

И, помолчав, повторила опять, как будто думая о своем:

— Что ж это значит, «Отец есть любовь»? Кто Отец? Бог?

— Не знаю. Сорок лет твержу, а не знаю. Слово Божие — закрытый сосуд: кто знает, что внутри? А может быть, и не надо знать: узнаешь — умрешь?..

— Пусть, — только бы знать!

И оба замолчали, прислушались к шуму сосен — шуму незримого моря — не того ли, что бьется о все берега земные неземным прибоем — шумит шумом смерти?

— В Уре Халдейском<sup>1</sup> ... — начал он и остановился. Произнеся имя родного города, почувствовал вдруг, что низкие тучи, мокрый снег, приторный запах мокрой хвои, унылое кукование кукушки и шум сосен — шум смерти — все ему здесь незнакомо; ненавистна и она, любимая: из-за нее никогда не вернется он на родину, умрет на чужбине бездомным бродягою, подохнет, как пес на большой дороге.

— В Уре Халдейском, — продолжал он, — отец мой был жрецом лунного бога Сина. Тайнам Божиим хотел и меня научить, но я не слушал его, думал тогда о другом. А все же кое-что узнал. Вот что написано в допотопных скрижалях о сотворении человека. Поймешь на нашем языке?

— Пойму.

— Ну так слушай:

Боги призвали богиню,  
Мудрую Мами Помощницу...

— Мами? — удивилась она. — У вас Мами, а у нас Ма. Одно имя?

— Да. Может быть, одна у всех. Все люди, как дети, зовут Ее: «Мами»!

Боги призвали богиню,  
Мудрую Мами Помощницу:  
«Ты, единая плоть материнская,  
Можешь людей сотворить».  
Открывает уста свои Мами,  
Великим богам говорит:  
«Я одна не могу»...

Дальше нельзя прочесть, скрижаль сломана. А в конце так:

Открывает уста свои Эа Отец,  
Великим богам говорит:

«Бога должно заклять;  
С божеской плотью и кровью  
Мами глину смешать»...

Так боги и сделали: из плоти и крови закланного Бога человека создали.

— Так это и у вас? — еще больше удивилась она.

— Да, и у нас. Бог умер, чтобы человек жил. Может быть, это и значит «Отец есть любовь»?

— Это! Это! Как же ты говорил, что не знаешь? Из-под хоревого шлема блеснули глаза ее — вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие, — и опять почувствовал он, что чужбина — родина; умрет из-за нее, ненавистной-любимой, подохнет, как пес на большой дороге, и будет счастлив.

— Как же ты говорил, что не знаешь? — повторила она.

— Не знаю, ничего не знаю, девушка, — усмехнулся он горько. — Может быть, так, а может быть, и не так. Человек о Боге знает столько же, как о человеке червь. Как твари дрожащей путь Божий постигнуть? Все надвое. На небе одно, а на земле другое. По земле судя, не очень-то Бог любит людей. Как в плачевной песне поется:

Помощи ждал я — никто не помог,  
Плакал — никто не утешил;  
Кричал — никто не ответил.

Злым и добрым одна участь: умрем и будем, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать.

— Зачем ты так говоришь?

— Как так?

— Как будто ничего нет.

— А что же есть? Тебе лучше знать: ты жрица, умеешь пророчить и гадать; а я купец, умею только считать. Дважды два четыре — смерть. Умрет человек — ляжет и не встанет.

— И все?

— Все.

— И ты больше ничего не хочешь?

— Как не хотеть! Хочу, чтоб дважды два было пять, да ведь не будет... О сотворении мира и другое сказано:

Ищешь ты жизни, но не найдешь.  
Когда боги людей сотворили,  
То себе оставили жизнь,  
А людям назначили смерть.

Все надвое. Выбирай, что хочешь: или дважды два пять — жизнь, или дважды два четыре — смерть.

Помолчал и спросил:

— А что, девушка, правда, будто бы у вас здесь, на Острове, человеческие жертвы приносятся — отцы заколают первенцев?..

— Молчи! Разве можно говорить об этом, — прошептала она с ужасом.

— Говорить нельзя, а делать можно?

— Молчи, молчи, безбожник! Если скажешь еще слово, я тебе больше не друг! — проговорила она так повелительно грозно, что он замолчал.

## II

Давно уже сошли с дороги на глухую, как звериный след, тропу. Вдруг вышли на лесную поляну, отовсюду огражденную скалами, тихую, теплую. Посреди нее миндальное деревцо розовело розовым цветом, под белым снегом, в мутных сумерках.

— А может быть, ты и ошибся в счете, купец: дважды два четыре не все? — сказала она, взглянув на деревцо.

— Может быть, и ошибся, — опять усмехнулся он горько. — Слушай, девушка. Сказал безумный мудрому: «Все ли зло под солнцем? Нет ли добра?» И мудрый безумному ответил: «Есть и добро». — «Какое же»? — «А вот какое: разбить нам обоим головы и бросить нас обоих в реку».

— Вот так ответил! Вот так ответил! — рассмеялась она весело.

Он тоже взглянул на дерево и понял: для нее, смеющейся, он, скорбящий, — как этот мокрый снег для розовых цветов.

— Стой, куда мы зашли? — оглянулась она. — Что-то я этой поляны не помню.

— Так и знал, что заблудимся! Зачем же свернула с дороги?

— Покороче хотела.

— Вот тебе и покороче! Ах, бестолковая! Небесных путей искавши, земной потеряли. А ночь на носу...

Он присел на поваленный ствол сосны и вытер ладонью пот со лба.

О себе она не думала; ко всему привыкла на звериных ловлях; переночевала бы в лесу, как дома. Но видела, что он устал и ослабел от раны. Подумала, решила:

— Не бойся, найдем ночлег.

— В медвежьей берлоге, что ли?

— Нет, у Нее.

Он понял: у Нее — у Матери. Имя Ее было так свято, что почти никогда не произносилось.

— Где же Она?

— Тут недалеко.

— А ты почему знаешь?

Молча указала она на глубоко зарубленный в сосновой коре, угольчатый крестик — Ее святое знаменье. Подальше, на другом стволе — еще, и еще. Как вехи, вели они к Ней.

Следуя по ним, вошли они в овраг — дно высохшего потока, так густо заросшее лиловым вереском и ржавым папоротником, что не видно было, куда ступает нога. Дио шла впереди. Вдруг отшатнулась — едва успела удержать ногу над пропастью. По ту сторону ее, в белесовато-мутной мгле, громоздились горы, как тучи, и высоко над ними, как будто от них отделенная, реяла почти невидимо, бледным призраком, снежная Идагора — сама Великая Мать, неизреченная Ма.

Дальше, казалось, идти было некуда. Но на отвесной скале, над самой кручею, начертан был четко, красною краскою, все тот же путеводный крестик. Обогнув выступ скалы, по самому краю пропасти, вышли к полукруглой площадке, обставленной каменными глыбами. Это была святая ограда перед входом в пещеру Матери.

Камень черный, закругленный сверху, как желудь, стоял посреди площадки. Люди говорили, что он упал с неба падучею звездой и по ночам светился



звездным светом. Это был святой Камень — Бэтил: в нем обитал Бог.

Дио вошла через калитку в ограду. Подойдя к Камню, обняла его и поцеловала. Потом вернулась к Таммузададу, сказала:

— Войди. Со мною можно.

И, взяв его за руку, ввела в ограду. В скале была медная дверца. Дио постучалась в нее. Никто не ответил.

— Должно быть, Пчелы ушли в город, — сказала она. Пчелами назывались жрицы Матери, и сама Дио была Пчелою.

Дверца никогда не запиралась: страх Божий охранял святилище. Открыв ее, вошли через тесную щель в темную, теплую, прокуренную святым шафраном и ладаном пещеру.

При тусклом свете, падавшем из приотворенной дверцы, увидели бронзовый треножник — алтарь курений с рдевшим под пеплом жаром углей. Дио вздула огонь и набросала сухих веток. Вспыхнуло яркое пламя, и пещера осветилась.

За алтарем курений был алтарь возлияний — черная стеатитовая, на столбиках, доска, с тремя углублениями — чашами, для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко — Сыну, мед — Матери.

Дальше в глубину возвышались два огромных глиняных бычьих рога, и между ними медная, на медном древке, двуострая секира, ярко вычищенная, сверкала, отражая пламя. Эта святая Секира — Лабра — была знаменiem Сына закланного, Тельца небесного: молнийной секирою Отца рассекается туча — телец, чтобы жертвенною кровью — дождем — напитать Землю Кормилицу.

А в самой глубине стоял маленький глиняный идол, незапамятно древний, чудовищный, с птичьим клювом вместо лица, смешными обручками, как бы цыплячьими крылышками вместо рук, исполинскими кольцами-серьгами в исполинских ушах, красными точками вместо сосцов и черным треугольником женских ложесн.

Войдя в пещеру, Таммузадад и Дио скинули звериные шкуры.

На нем была длинная, подобная жреческим ризам, вавилонская одежда из темно-лиловой шерсти с золотым шитьем, повторявшим узор — райское Древо Жизни между двумя херувимами. Борода, черная с проседью, завита была в правильные ярусы мелких локонов, теперь от сырости развившихся и растрепавшихся несколько смешно и жалобно. Ростом он был невысок, широкоплеч и приземист. Обветренное, смуглое, как у моряков, лицо с резкими чертами, с вечною, как бы застывшею, умною и злою усмешкою, было некрасиво. Но иногда он улыбался неожиданно-детскою улыбкою, и вдруг, точно личина спадала, открывалось другое лицо, простое и доброе.

На ней была критская сборчатая, книзу расширенная колоколом, юбка, на каждой ноге закругленная так, что слегка напоминала мужские штаны; стан туго перетянут, как бы перерезан, кожаным поясом-валиком; на верхней части тела — узкий, в обтяжку, хитон из ткани, тонкой и золотистой, как пленка с головки сушеного лука; на груди — трехугольный, низкий до пояса, вырез, обнажавший сосцы.

Когда вспыхнуло пламя на жертвеннике, Дио подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, к маленькому чудовищному идолу в глубине пещеры; потом поднесла их ко лбу и соединила над бровями, как будто закрывая глаза от слишком яркого света. Повторила это движение трижды, произнося молитву на

древнем, священном языке. Таммузадад плохо понимал его, но все-таки понял, что она молится Матери:

— Всех детей твоих, Мать, помилуй, спаси, заступи!

Он удивился, узнав почти ту же молитву, которой мать его учила в детстве; с нею же надела ему на шею и ту коряблиновую дощечку-талисман, с полустертыми знаками древних писмен: «Отец есть любовь».

### III

Кончив молитву, Дио указала ему на две кучи сухих листьев, покрытые овечьим руном, у двух противоположных стен пещеры, — должно быть, лежа дешесних Пчел:

— Вот тебе и ночлег!

Он посмотрел на нее молча, с удивлением: не понимает, что делает, или думает, что от всего сохранит ее святой покров Матери?

Потом, усадив его на обрубок дубового пня, вынула из охотничьей сумы все, что нужно для перевязки, сходила за водою на родник в устье пещеры, согрела воду в медной чаше на углях жертвенника, обмыла рану, присыпала зельем, утешающим боль, и перевязала лоскутом свежей льняной ткани. Была искусною врачом, так же, как все Пчелы.

Пальцы ее едва касались раны. Но он побледнел и стиснул зубы.

— Лилит! Лилит! — шептал, как в бреду.

— Что ты шепчешь? — спросила она. Он ничего не ответил, только стиснул зубы еще крепче.

Лилит была соблазнительно-прекрасным вавилонским бесом, сосущим по ночам кровь сонных дев и отроков, — сама ни отрок, ни дева, — Дева и Отрок вместе.

Девушки часто бывают похожи на мальчиков. Но Дио была больше, чем похожа. Смешно сказать: он иногда не знал, кого любит — ее или его. Видел голую женскую грудь, а все-таки не знал.

О, это слишком худое, отчески-стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе — смешные «усики» — для него не смешные, а страшные! Ни он, ни она — она и он вместе — Лилит, Лилит!

Иногда ему хотелось спросить ее в упор: «А ты кто?». И если не спрашивал, то не только потому, что это было смешно. «Кто подымет покров лица моего, умрет», — говорит богиня Иштар вавилонская. Звезда любви, утренне-вечерняя, на закате Жена, на рассвете Муж — Муж и Жена вместе. Страшно ему было узнать, кто она: узнать — умереть.

Дио вынула из сумы и поставила на стол — другой пень, повыше — две стеклянных сулейки, одну с вином, другую с оливковым маслом; положила хлеб, сыр, сушеные плоды, и для него — ломоть копченой оленины. Сама не ела мяса: ничего дышащего не вкушали жрицы Матери.

Угощала его, но он от всего отказывался, только жадно выпил чашу холодной воды. А она ела за двоих, как настоящая охотница.

— Теперь уж не заблудимся! — болтала весело. — Тут дорога близехонько.

На заре наши с Горы подойдут. У них две телеги; на одной везут быка, а на другую тебя посадим. С ними и вернемся в город... Да что ты такой скучный? О чем думаешь?

— Ни о чем. От тебя шафраном пахнет. «Сладкое дыханье зимнего шафрана», — так у вас в песне поется?... Это ваше святое благовоние. Пчелы?

— Да. А ты не любишь?

— Нет, ничего.

Он вынул из ножен нож, тот, которым убил давеча вепря. Осмотрел, нет ли пятен крови. Тер сукном, чистил. Темным блеском блестело железо.

— Черная медь крепче желтой? — спросила она. Железа на Островах не было, не было и слова для него.

— Да, крепче, ковче. А если раскалить добела и опустить в воду, будет еще крепче, и гнется, как ивовый прут, не ломается.

— Ты им и торгуешь?

— Им. Я вам его первый привез, до меня никто не возил.

— На нем разжился?

— На нем. Железо дороже золота.

— Откуда оно?

— Из земли Халибов, на Севере. Но и те только купцы да ковачи, а к ним привозят другие, кто живет еще дальше на Севере. Там земля и небо железные, и люди тоже. Если к вам придут, всех истребят. Медью с железом не справиться. У кого железо, тот всех победит.

— А могут прийти?

— Могут. Уже идут. Был камень, есть медь, будет железо. И тогда начнется война, не то что теперь. Где железо, там и кровь; кровь липнет к железу. В древних книгах сказано: «Все будут убивать друг друга». Был потоп водный — будет кровавый, и тогда всему конец...

— Этого не будет!

— Будет. Отчего не быть?

— Не попустит Мать, — сказала она и, подумав, прибавила: — Как же ты не боишься?

— Чего?

— Торговать... этим.

Не захотела произносить гнусное слово: «железо».

— Да Ей-то что? — усмехнулся он. — Боги в такие дела не мешаются. Был бы товар, а купцы будут. Не я, так другой.

— Спрячь! Спрячь! Ей не показывай! — прошептала она с отвращением и ужасом. Он спрятал нож в ножны.

— А рядом с Халибами живут Амазонки, — продолжал он по старой привычке моряка вспоминать далекие страны. — Амазонки значит Безгрудые. Правую грудь выжигают себе, чтобы не мешала натягивать лук. И такой у них обычай: жены воюют, а мужи прядут шерсть и нянчат ребят. А ведь и у вас тут, на Островах, такой же был когда-то обычай; да и теперь еще мать больше отца, и жрицы святее жрецов. Ведь и вы Пчелы — мужененавистницы? Как это у вас в песне поется? В лунные ночи, в святых садах, в сладком дыхании шафрана, как Пчелки жужжат?

— Это не песня, а молитва.

— Ну, все равно. Скажи, как?

Она улыбнулась и вдруг зашептала, зажужжала тихо — молитвенно:

О, да избегну я, дева безбратная,  
Царственной Матери дочь свободная,  
Рабского ига объятий мужских.

— А дальше, дальше как? — молил он жадно.

Она опустила глаза и уже без улыбки прошептала еще тише:

Да преклонит же к молящей  
Лик свой милостивый Матерь,  
И святым своим покровом  
Дева деву осенит!

— Ну а конец я и сам помню:

Лучше в петлю, чем на ложе  
Ненавистное мужей!

Так вот вы как, святые девы! Не грудь себе выжигаете, а сердце. Да ведь не выжжете, глупые! Дважды два четыре, это и в любви, как в смерти. Всякая птица вьет гнездо, всякая девушка хочет мужа. Захочешь и ты — полюбишь!

Она подняла на него глаза — вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далекие.

— Не полюблю, — ответила просто. — Так не полюблю.

— А как же, как же иначе?

Она ничего не ответила.

Огонь потухал. Она подбавила смолистых лучин; наколола их побольше, чтобы хватило на ночь. Пламя вспыхнуло. Медная секира заискрилась, черные тени рогов запрыгали по стенам, и маленький идол в глубине пещеры, казалось, замахал цыплячьими крылышками, как будто хотел вспорхнуть.

— А правда ли, что тут у вас, в таинствах Матери, жрецы одеваются жрицами, а жрицы — жрецами? — опять заговорил он. — Это зачем? Разве Мать...

— Молчи! — сказала она так же грозно-повелительно, как давеча, когда он спрашивал о человеческих жертвах.

Но он уже не хотел молчать, весь дрожал, говорил как в бреду:

— Тут у вас земля трясется, носить вас больше не хочет. Погодите, ужо накажет вас Бог: провалитесь все в преисподнюю!

— За что?

— А вот за это, за это! За то, что естество извратили, захотели, чтоб дважды два было пять ...

Она вдруг рассмеялась ему в лицо так же весело, как давеча, глядя на розовый цвет миндаля в густеющих сумерках.

— Ничего, ничего ты не знаешь! И зачем говоришь, когда не знаешь?

Он посмотрел на нее молча, в упор, и вдруг опять побледнел, стиснул зубы, почувствовал, как пронзающий укус скорпиона, смешное-смешное и страшное вместе. И уже шевелился, рвался с языка безумный вопрос: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

Встал и накинуд на себя львиную шкуру.

— Куда ты?

— В лес.

— Зачем?